



*Дом бабы Дуни – улица Садовая
(ныне – Кутузова), 55. Современное фото*

**«И сказал Господь Ною:
войди ты и всё потомство твоё в ковчег,
ибо тебя увидел Я праведным предо
Мною в роде сем»**

Первая книга Моисеева. Бытиё. Глава 7.1.

По разрозненным рассказам моего отца и моей матери выходило, что зря этот карикатурный немец затеял заварушку с вероломным нападением на Советский Союз. Ясно было: ну через неделю, ну через две разобьют его в пух и прах. И пойдёт июньское лето 1941 года своим чередом, слава новых героев.

Ну, суровее стали лица тех, кто помнил лихолетье Первой мировой войны. Ну, мигом расходились газеты, в которых писали о немыслимых потерях врага. Ну, меньше стало военных в кино и на танцплощадках.

Вера и надежда гнали мысли о гладе и море. Но разум и инстинкт самосохранения подвигали на сплочение и на приспособление к военному времени.

Поезд дёрнулся, лязгнул буферами, пыхнул слезным дымом и медленно пополз дальше. Когда мимо прошёл последний вагон, мы с мамой сошли с деревянной платформы на гальку и пошли по шпалам к переезду.

Солнце стояло уже довольно высоко, было жарко, пахло керосином. Слева от насыпи стояли дома, большое заводское здание, но мы почему-то пошли мимо будки вправо, под поднятый шлагбаум, по обочине вымощенной камнем дороги, в степь.

Несколько человек обогнали нас и ушли далеко вперёд – были налегке, а мы шли медленно: мама несла чемодан, сумку, приноравливаясь к моим детским шагам.

Дорога взяла влево и между двумя невысокими бурами прервалась деревянным мостом, за которым резво брала вверх и вправо на широкую улицу.

ЧЁРНАЯ МУКА ИЗ ЗЕЛЁНЫХ ЖЁЛУДЕЙ

Под мостом стояла тёмная недвижная вода. Влево уходило, сколько брал глаз, широкое зеркало воды – там была Волга, через которую мы переехали по железнодорожному мосту, вправо держали заводь высокие стенки оврага.

Поднявшись на улицу, мы тут же свернули влево в переулочек, над которым возвышалась хитросплетённая железная вышка с большим кругом с лепестками над ней. То была водокачка на улице Садовой – нам направо и дальше, дальше, к дому бабы Дуни.

Посреди улицы пыльная колея, у домов с глухими заборами и воротами палисадники с кустами и деревьями, с лавочками и обрезанными брёвнами.

Калитка открылась без труда, куры бросились врассыпную по двору, дёрнулась на короткой привязи маленькая собачка с хриплым лаем, выбежала на крыльцо баба Дуня:

– Ой, доню! Ой, сынку!

А было это в 1941 году, в самом начале войны, которая невидимая, неслышная кусающей тенью накрывала лица людей, срывала их с насиженных мест, оставляла один на один с неизвестностью, грозила привычным порядкам.

Куда служба забросит отца – кадрового военного из Балашова, – никто не знал, и, как я думаю, быстро и бесповоротно было решено, что нам с мамой надо на время обосноваться за Волгой – уж туда немец точно ни за что не доберётся.

Село Анисовка в три протяжённые улицы (широкая Весёлая с шоссе посередине, узкая Садовая и Ленинская, за которой была круча и свозы к воде, лугам, тёмному лесу) располагалось на старинном чумацком тракте ближе всех малороссийских сёл к городу Энгельсу. Оно заняло высокий мыс, к которому в весенний разлив через лес и луга подходили воды Волги. С кручи далеко-далеко была видна полоска гор, на которых можно было рассмотреть домики Саратова.

Обживались – бабушкин дом в два окна на улице, три – во двор был на две комнаты. Передняя с иконами и





Евдокия Макаровна Самойленко

лампадой в правом углу была посветлее и попросторней. Половину задней занимала расписанная квитками печь. От неё загородка с проёмом шла к голландской железной печке посередине избы. За загородкой была скамья около печки и железная бабушкина кровать.

К дому чрез тамбур с кладовкой примыкал хлев, в котором обитали корова, а порой и поросё.

За оградой через двор был широкий и длинный огород, стожок сена и пирамидки кизяка, заготовленные для топки печей. Во двор выходили сарай с погребницей и курятник.

Широкие ворота были заложены толстым брусом. Калитка на ночь закрывалась толстым деревянным засовом. На ночь же, а в жару и на день, окна закрывались двухстворчатыми ставнями, в которых были вырезаны сердечки.

По позднейшим семейным преданиям дом этот возвёл в Терновке дед. Он ездил – ближний свет! – на заработки в Америку по вербовке. Сохранились две пожелтевшие большие фотографии на паспарту: здоровенные мужики все как один в шляпах, костюмах с галстуками. Где, что строил дед на благо Америки? На чём и с кем переплывал моря и океаны? Наверное, оттуда в обиходе бабушки прижилось ласковое ругательство – «сакраменто!»

В этом доме родились и выросли два сына и две дочери.

Было справное хозяйство, как положено у работающих украинцев, – кони, коровы, овцы, свиньи, куры.

Точно, Самойленки были из тех чумаков, которые возили сіль из Эльтонского озера до Покровска, получили наделы возле шляха, оставили рідну Полтавщину и стали жить в степу на левом берегу Волги. Они соседствовали с колонистами, насаженными здесь со времён Екатерины II, но не смешивались, не роднились. В лихую годину сплошной коллективизации и уничтожения кула-

ка как классового врага, очевидно, пришлось бросить середняцкое хозяйство и подаваться в дальние места.

Кажется, дед погиб на строительстве железнодорожного моста через Волгу, а братья и сёстры оказались на какой-то стройке под Москвой.

Бабушка, очевидно, была крепкая женщина и на комомысле перенесла, что можно было, для обихода, а сруб развалили, перевезли из Терновки и собрали в Анисовке. Сюда, в Анисовку, наверное, перебрались многие родственники и знакомые: была работа на мясокомбинате, на железнодорожной станции. В Анисовке все имели огороды, держали скот, сажали бахчи и плантации картошки.

Бабушка говорила «на рідной мове» с употреблением великорусских слов. В досаде могла сказать:

– Шоб ты сказывся!

Или:

– Сто бисив твоему батькови!

Было и такое непонятное для меня в ту пору слово: «Сакраменто!» Теперь-то я понимаю, что его привёз из Америки дед, верно, не раз слышал его от итальянцев.

По утрам бабаны клала поклоны перед иконами и неизменно говорила странные слова:

– Хлеб наш даждь днесь...

Молилась она и на ночь. Лампадка горела постоянно.

Стоило пройти переулком за нашим домом, и попадёшь на Ленинскую улицу. Там были сельсовет, школа, клуб, магазин, в котором по карточкам выдавали хлеб.

Вскоре после нашего приезда бабушка с мамой на улице вели с соседями разговоры о каких-то немцах, колонках, в которых их ловили и вывозили в Сибирь. Оказалось, это не фашисты, не оккупанты, а стародавние поселенцы, которые жили в своих колониях, вели справное хозяйство, никому не угрожали, никого не трогали. Но подвернулись под горячую руку власти и в чём были, с тем, что взяли в руки, освободили территорию, которую вскоре заняли какие-то десантники.

Недолго мы жили втроём. Уполномоченный из сельского Совета привёл на постой молодую москвичку – она эвакуировалась со своим заводом, который разместился рядом с мясокомбинатом. Говорили, завод секретный, авиационный, но ни самолётов, ни лётчиков видно не было.

В то лето между мясокомбинатом и станцией Анисовка в железнодорожных тупиках стояли поезда, в которых жили люди. Готовили еду на кострах под насыпью и звали свой временный табор «станция Галушки». С платформ разгружали станки и перевозили их на мясокомбинат.

Если выйти на кручу за улицей Весёлой, можно было видеть гусеницы поездов, ползущих на станцию Покровск или от неё. Но – самое интересное – осенью в той стороне стрекозами взмывали в небо маленькие самолётики: полетают-полетают и сядут на невидимое поле. Говорили о том, что на лётчиков учатся согнанные сюда девушки.

За деревянным мостом появились зенитки. Охраняли их, гоняли ребятню, девушки в военной форме.





Фёдор Иванович Самойленко



*Евдокия Макаровна
с дочерью Марией Ивановной
Чепеленко
(крёстной автора очерка)*



*Евдокия Макаровна Самойленко
с сыновьями Иваном и Фёдором*

Вал войны подступал и подступал к Волге, но что я и мои сверстники-дошколята могли понимать в этом деле?

Неведомый сельсовет не оставлял вниманием: то уполномоченный переписывал людей, скотину, то забирал тёплые варежки, носки, вышитые кисеты для бойцов и командиров Красной Армии, то приносил бумажки с радужными разводами – облигации Государственного военного займа, то собирал пожертвования на покупку самолётов и танков.

Зимой в доме прибавилось людей – из освобождённого от немцев Подмосковья приехали Чепеленки: дядя Вася, тётя Маруся, моя тётя, их дети – мои двоюродные сестра и брат. Так неожиданно-негаданно у меня появились заступники. Можно было безбоязненно бегать на кручу, где на ледянках, фанерках, а то и просто на пальто каталась ребяшня, к клубу, где толкались на улице ребята постарше, ещё не допущенные на танцы, или же не прорвавшиеся в кино. Третий защитник – ухажёр сестры – появился позже.

И так, как под крылом наседки сбиваются цыплята, под крышей дома бабушки Евдокии Макаровны Самойленко собрались дети и внуки. Один из её сыновей – мой дядя Ваня – служил под Москвой и от него не было никаких известий. Так и сгинул без вести. Другой – мой дядя Федя – изредка присылал фронтовые треугольники. Приходили весточки от моего отца. Где они находились, не сообщали, и оставалось уповать на удачу, осторожность, на боевых товарищей, верить, что они выживут в походах и сражениях, вернуться домой победителями. Дядя Вася прожил с нами недолго – его призвали в армию. Ушла от нас и москвичка – на Мясокомбинате для заводских построили длинные бараки, собрали и семейных, и холостых.

Летом 1942 года сельсоветом было велено вырыть щели в огороде на случай бомбёжек немецких самолётов. Вырыли глубокую, тесную.

Летом же часто через Анисовку проходили колонны военных. Иногда они ночевали во дворе в кузове полуторок. А потом днём стреляли зенитки по маленьким самолёткам в небе – разрывы расплзались как облачка. По ночам пролетали с противным воем немецкие самолёты в степь. Летали они низко. Говорили, что кто-то разглядел даже кресты на крыльях и лётчика в кабине.

Жизнь, между тем, шла по заведённому порядку.

В хате под высокой соломенной крышей, что стояла напротив – единственной на всей улице, – жил пожилой пастух. По утрам он собирал коров в стадо, гнал по проулку к реке и далее в займище на пастбище. В уговорённый день он приходил на ужин в очередной дом.

Женщины ходили в стадо на дойку. Поздней осенью корову ставили в коровник, надо было с утра вычистить его, задать сена, напоить, подоить, вечером опять почистить, задать сена, напоить.

Корова во дворе была надеждой и спасением для семьи. На столе было молоко, кислое молоко, простокваша, сметана, масло. Соседки по очереди отдавали часть надоя друг другу, чтобы можно было вывезти бидон молока на базар или пропустить через сепаратор для получения сметаны, или пропустить сметану через пахталку для получения масла на продажу.

Коров по возможности холили и лелеяли, даже называли женскими именами. Радостью в доме было и появление телёнка. Он жил у печки до тех пор, пока не набирал вес, тогда его продавали на вырост или на убой.

Стол был украинский: и борщ, и галушки, и солёные арбузы, помидоры, огурцы, пилоска (засоленные листья капуста), молозиво (жареное первое молоко после того,





*Фёдор Иванович Самойленко
с товарищами,
город Пенза, госпиталь*



*Василий Петрович Зверев,
Польша, декабрь 1944 года*



*Василий Петрович Зверев (сидит)
с боевыми друзьями, город Балашов,
довоенный снимок*

как от коровы отнимали телёнка), яйца, каша, квашеное молоко, пироги и пирожки.

Мама не работала, очевидно, отец высылал офицерский аттестат. Тётя одно время работала на мясокомбинате в пекарне.

Может быть, в то же время передвижения войск под Сталинград приезжал отец. Ни винтовки, ни автомата, ни гранат у него не было. Не привёз он ни кинжала, ни гильз.

Заходили соседки, расспрашивали о фронте. Запомнилось, наверное, не раз сказанное о жизни на фронте:

– Дрожи, а форс держи!

Отец курил по ночам, пробыл недолго.

Не знаю, какие и от кого доходили новости. Газет в доме не было. Чёрную тарелку радио надо было слушать, приложив ухо.

Летом 1943 года по ночам ухали зенитки, метались по небу лучи прожекторов. Были видны пожары на другом берегу Волги в Саратове. Мост ни разу не пострадал.

Потом война отступила куда-то далеко за Саратов. Зенитки в одночасье снялись и убыли в секретном направлении, остались только ямы с валиками, укрытия, с которых растащили брёвна и доски. Щель в огороде засыпали, как будто её и не было.

Тётю Марусю мобилизовали на восстановление Сталинграда. Побывала она там до осени, работая на расчистке завалов на улицах, на заводах. Привезла для Вани и для меня тугие ленты серой толстой резины с гусениц подбитых немецких танков. Из нарезанной полосками резины получались хорошие дальнбойные рогатки.

Зимой женщин из Анисовки то и дело гоняли на расчистку взлётных полос аэродрома за Энгельсом.

В дом частенько заглядывали не только родственники, но и соседи, знакомые и незнакомые с других улиц. Баба Дуня Макарчиха слыла знахаркой, заговаривала недуги, избавляла от бородавок, цыпок, готовила отвары и настои. За глаза её иногда втихомолку называли колдуньей и не вступали в споры, тем более не затевали ссор.

Настоящей колдуньей была, наверное, молодая цыганка, невестка как прибывшая к нашему пастуху, поселившаяся в его доме. К ней вначале изредка поодиночке, а потом в открытую по двое, по трое ходили с приношениями женщины. Хотелось погадать на судьбу, на близких, на продажу, на покупку.

Цыганки побаивались – как бы в сердцах не навела заклятие, порчу, поэтому лишний раз старались не стлкаться с ней на улице, в магазине.

Мальчишки говорили, что она заколдовала пастуха, вместе они решают, чью скотину привечать, а чью кнутом обхаживать, чей дом оградить от напастей, а чей пустить на волю волн, чьим ребятам избежать увечий и ран, а чьим ходить в цыпках и бородавках.

Будни перемежались редкими праздниками. По весне дом и калитки и ворота с улицы украшались зелёными веточками. Скотину вербными пучками выгоняли на пастбище. Летом на Ивана Купалу можно было пробовать воду в речке, обязательно париться в банях. Со Спаса на столе появлялись яблоки. Скоро начиналась рубка капусты, засолка огурцов, помидор.

Зимой начинались святки-колядки – обход соседей с поздравлениями с Рождеством, сбором пирогов, ватрушек, кусков сахара.

По праздникам ставили на стол патефон. С тяжёлых чёрных пластинок нездешние голоса изливали боль души и сердца, звали в иной мир со звёздами, садами,





дивчинами, справными конями, подшучивали и подзадоривали.

«Дивлюсь я на небо...»

«Реве та стогне Дніпр широкий...»

«Взяв бы я бандуру...»

«Розпрягайте, хлопці, коней...»

«Несе Галя воду...»

Навсегда запали в память простые складные слова, привычные образы, вечные истины, и когда слышишь их в истинном звучании, из мира настоящего в мир прошлый перебрасывается незримый, но надёжный мостик, и мудрость обнимается с наивностью, и минувшее заявляет свои права на память, и вспоминается давно забытое, заслонённое долгой чередой минувших лет...

Летом 1944 года от дяди Феда стали приходиться письма из Пензы. Он лечился в госпитале после ранения. На фотографиях, которые были в письмах, он был с товарищами – младший лейтенант в сапогах с фасоном: голенища сапог сверху были завернуты.

Потом пришли фотографии, на которых он был снят с молодой женой.

Из Пензы дядя Федя отправился на фронт, так и не побывав в Анисовке.

Осенью того же года я пошёл в первый класс школы. Школа была в соседнем переулке, приспособленная из церкви – высокие потолки, просторные классы. В огороженном забором дворе с сараями было где бегать, прыгаться. Лазали на высоченные берёзы.

Уроки шли на русском языке, первое время Дьяченко, Котенко, Рогуленко, Салиенко, Сидоренко трудно было перейти с украинского, смешанного хохлацкого, который на переменах звучал в коридоре, во дворе.

Школа обуздывала молодцов-сорванцов, приучала следить за временем, за поведением. И непоседы, и увалыни, и несмышленыши – все втягивались в игру кто лучше ответит, напишет, запомнит, все тасовались как карты в колоде, переживали свою звёздную минуту успеха или горький час обиды.

Той же осенью пришла похоронка на дядю Васю, который погиб в Болгарии, был похоронен на площади Михайловграда.

Как-то весной 1945 года – было уже вовсю солнечно, тепло – на крыльце обедали, пили чай из самовара. Задёргалась на цепи, залаяла собака. Звякнув железной щеколдой, зашла почтальонка. Вручила под расписку письмо, отказалась от чая и быстро ушла, не обращая внимания на лай собаки.

Бабушка распечатала конверт и ударилась в плач – пришла похоронка на дядю Феда. Командир взвода пулемётчиков погиб в боях за освобождение Австрии.

Рыдали все, даже соседки, заглянувшие с улицы. Так бабушка осталась без обоих сыновей.

Конец войны никак не отложился в памяти. Наверное на Мясокомбинате был митинг, наверное, сходились разудалые души в застолье, наверное, сотрясалась чёрная тарелка радио, которому дали голосить на полное колёсико... Как-то вечером неслуханно повезло: сосед-возчик с мясокомбината



Евдокия Макаровна Самойленко с дочерью Марией и снохой Екатериной Ивановной Зверевой за сортировкой лука

позволил взобраться на телегу и прокатиться до конюшни. Не всякому мальчику, не каждый день выпадало такое удовольствие – трястись по булыжной мостовой или по пыльной обочине, чувствовать, как напрягаются лошади в горку, слушать, как стучат колёса и двигаться быстрее, чем пешеходы.

Возвращались с другом-соседом в сумерках, обгоняя мысль о том, что скажут родители, упустившие нас из виду. Повернули на нашу улицу, а тут взрослые и дети подгоняют:

– Беги, Юрка, беги – отец приехал!

Отец? Приехал?

Пробежать до дома можно и не переводя дыхание. Возле палисадника на скамейке сидел, курил мужчина в военной форме, но без погон и фуражки, отчего хорошо были видны залысины на широком лице. Сходу я бросился к нему, забыв об оставшихся друзьях.

Но радость была переменчива: это был брат отца, мой дядя Федя, проездом в Ваулино, где его ждали мать, жена, сын и две дочери.

Подарил он трофейную губную гармошку, на которой так никто и не научился играть: кошка мурлычит куда приятней! Время шло, а отец всё не приезжал и не приезжал. Первый послевоенный день победы хорошо запомнился мне выволочкой, полученной от матери. В белой по случаю праздника рубашке подался с друзьями на берег речки, где мужики на кострах варили смолу, конопатили и смолили лодки. Если взять в рот остывший кусочек вара, то его можно жевать бесконечно. Говорили, что это придаёт вечную белизну зубам.

Конечно, в суете, в толкотне несколько капель смолы из котла попали на рубашку. Попытки стереть их только увеличили пятно.

– Справил себе удовольствие, а другим доставил заботы! Делай наоборот, и цены тебе не будет!





А день был светлым, тёплым. Весной мужики, а их стало заметно больше в Анисовке, громко спорили из-за межей на огородах, на лугах. Бабы молились на пастуха, ожидая известия о том, чья корова покрылась. Лето выдалось знойным. Травы выгорали, озёрца мелели, говорили о засухе. Стерегли огороды.

Время шло, а отец всё оставался где-то в освобождённой Европе, в побеждённой Германии. Приехал он к нам только осенью. Я как дурак вместо учебников и тетрадей набил в сумку подарки: тетради, карандаши, конфеты и понёс в школу хвастаться, совсем не думая, что это может вызвать зависть у других, неприязнь. Не побили, не растащили – всё ходило по рукам, – наверное, потому, что широким жестом отдал на съедение конфеты: кому не досталось, я не виноват.

Отец рассказывал, что его оставили служить в советской военной администрации. Помогал вывозу репараций, ну, машин, станков, сырья за разорённые наши города и сёла, разрушенные заводы. Организовывал местную власть, чтобы немцы работали больше, а не воевали. Ловил каких-то вервольфов – недобитых фашистов.

Встреча была недолгой – отец с матерью уехали в Германию. Вскоре от мамы стали приходиться письма, но в каком виде! Конверты, было видно невооружённым взглядом, грубо вскрывали, а затем снова заклеивали. И было на что смотреть почтовым работникам, может быть, и знавшим маму. На твёрдых фотографиях была запечатлена вылитая артистка с невиданной причёской, в нарядном платье, в шёлковых чулках.

Пришла и посылка с вещами. А вторая посылка оказалась забита мятыми газетами, наверное, кто-то не удержался – поживился чужим добром.

В зиму 1946 года, чего никогда не было, заготовили молодые жёлуди. Их обжаривали на сковородке, мололи и добавляли в муку, пекли лепёшки, которые отдавали горечью. Жёлуди можно было есть и так, но серые, а то и чёрные, большого удовольствия это не доставляло.

Ребята постарше на попутных товарняках переезжали через мост на другой берег Волги, пробирались в багаевские сады, одни отвлекали сторожей, другие набирали яблок в сумки и тикали на поезд.

Настало голодное время, которого не было даже в войну. В школе раздавали между уроками по миске каши. Были дополнительные детские карточки на хлеб.

В это время меня окрестили. Таинство совершилось поздним вечером в чьей-то хате в дальнем конце улицы. Было тесно, душно, суетно. Никакой купели для великовозрастных ребят. Дали сладкой водички с ложки, нарекли Егорием, отдали под заступничество Бога всемогущего и вездесущего. Тётя Маруся стала моей крёстной.

Крещение какое-то время занимало мой ограниченный ум, так оно выбивалось из обычного ряда событий, приобщало ко взрослой жизни, в которой можно было полагаться не только на родных и близких, но и на Бога.

Одновременно смущало то, что теперь у меня два имени – стародавнее, признанное всеми, и новое, пота-

ённое, известное лишь нескольким людям. Об этом, после некоторого замешательства, я спросил бабушку. Она разъяснила:

– По-христиански имена Егорий, Григорий, Юрий едины. И чтимы так, что на Руси два Егория: холодный, декабрьский, да голодный, майский.

Было от чего прийти в уныние!

Но бабушка ободрила:

– Егорий почитается как охранитель скота. Весенний Егорий – праздник всех пастухов, а ты знаешь, как много в нашей жизни зависит от надёжного пастуха! А вообще Егорий – Георгий почитаем как Победоносец всяких гадов и тварей, мешающих и животным, и людям. Так что имя у тебя куда как славное. А что касаемо защиты тела и духа – на Бога надейся, да и сам не оплошай!

После этих разговоров я как-то по-другому стал смотреть на животных, которые обитали рядом. Значит, под призрением Бога находились и корова, и телёнок, и цыплята, семенившие за наседкой по двору, и кошка, бесстрашно ходившая по забору, и ласточка, лепившая гнездо под крышей, и скворцы, передразнивавшие птиц со скворечника. Проживут они без нас? Проживём мы без них?

По весне сажали в огороде картошку. Ходить враскоряку по взрытой земле, класть точно в лунку глазком вверх нарезанную картошку было тоскливо, казалось, до конца грядок не добраться до вечера.

Бабушка подбадривала:

– Утирайся, но упирайся! Кланяйся, кланяйся земле – вернёт за труд сторицей.

– Сторицей, это как?

– А полным ведром, и тугим мешком, и вкусным пирожком!

Заманчиво, но всё равно однообразно, одна надежда – на улицу отпустят.

Как-то с тётей Марусей, наверное, по весне 1947 года, ездили на площадке товарного вагона на станцию Урбах, где работал дядя Федя. Каким ветром его занесло туда, не знаю, жил он без семьи, в которую так и не вернулся. Там я увидел высокий-высокий элеватор, большой-большой американский грузовик – «студебеккер». Может быть, мы ездили за зерном и каким-то образом хоть сколько-то получили его?

Летом 1947 года за мной приехал отец. Без большой радости, по детскому недомыслию, наверное, пришлось оторваться от бабушки, крёстной, сестры и брата, от окрестного раздолья и сладкого своеволия. Что стоило отцу и матери перебраться сюда и жить всем вместе?

Через считанные дни я перенёсся на самолёте, признаться, без восторга и без боязни, из загадочной Москвы в ненавистный Берлин, а из него добрался поездом через -фельды и -берги до лесной земли Тюрингии, альтштадта Ваймар – ни жары, ни снега, ни чёрного хлеба, ни рідной пісни...

Юрий Васильевич ЗВЕРЕВ